

МЫ БЫЛИ квиты: экзаменатор замучил меня, я его. Нервно проставляя в зачетку «хор», он не то хвалил, не то укорял:

— Раннего Блока вы знаете. Но следовало бы...

Что следовало бы, я так и не узнал, потому что экзаменатор переключился на другого и тут же забыл про меня.

Сейчас диву даешься, насколько распылено нас от самоуверенного студенческого неведения! Переход количества поглощенного на лекциях и в библиотеках в качество усвоенного и сопережитого мы воспринимали азартно и недальновидно, считая себя приличными «литераторами», хотя в сущности были неоперившимися цыплятами, которым через год-два надлежало учителями-словесниками войти в первый раз в класс.

Может, потому, что отлично помню то милое время, я снисходителен к ученикам. Они тоже азартны и недальновидны, искренни и бесхитростны как в согласии, так и в напористом фрондировании.

Как-то трое «фрондеров» попросили оценить плод их совместного творчества. Столбцы не страдавших каллиграфией строчек носили название «Тринадцатый». Чтоб не ошибиться, под заголовком стояла приписка — «Поэма». Таковой, разумеется, не было. Было нагромождение вывернутых наизнанку, искаженных строк из блоковских «Двенадцати»: «Белый вечер, черный снег... Кругом огни, огни, огни, ты, Катя, Ваньку обойми. Трах-трах, тах! Толстомордая ты сволочь, бах!..» и т. п. Мелкое это хулиганство они нарекли протестом против «безобразной» поэмы Александра Александровича.

Разноса я не учинил. Думалось, что гораздо сложнее, а следовательно, и благодарнее подтолкнуть их, чтоб сами окунулись в глубины поэмы, прочувствовали бы гениальный «крик души» ее создателя. Но как это сделать?

— Блок протестовал против «искусства для искусства» — теория такая была! — и в последний период творчества уверенно пошел по пути социалистического реализма. В поэме «Двенадцать», например...

Это фрагмент устного экзамена по литературе. Отвечающий под немой аккомпанемент комиссии несет великолепную ахинею. И мне становится жалко копий, которые ломал на уроках. Бойкий

ученичок этот — издержка моя. Его не хватило даже на протест. А Блок прошел мимо...

С десятым, из которого «фронтеры», я ладил. В весенние каникулы ездил с ними в Ленинград. Жили веселой коммунаой и до улады впитывали Северную Пальмиру. В один из вечеров смотрели в академическом имени Кирова «Щелкунчика». После спектакля на трамвайной остановке я, как мог, рассказывал о Театральной площади. Слева, ми-

— Он вообще тяготевет (с каким солидным достоинством произнесено было тяжеловесное это словечко!) к необычным определениям, — пояснила Ира Василевич. — Красные каменья, белокрылая метель, почему-то красный дворник...

— И железный, жестокий век, — поддержал Миша. Покосившись на меня, добавил: — И толстоморденькая — про Катю...

Всегда торжественные и всегда грустноватые ленинградские

попал в цель — где-то в подсознании ребят колюче зазвенела тема отнюдь не соловьиная, а скорее тема недоуменного и жестокого взгляда на жизнь.

УЗКОЛИЦЫЙ, светлосудрый человек во фронтовой гимнастерке, подпоясанной широким кожаным солдатским ремнем...». Это Блок. А где же блуза с мягким отложным воротником, где фрак и неизменная «бабочка»? Нежно одухотворенный, мечтательный, хрупкий, мятущий-

рактистики монстрам, уронившим власть. «И. А. Горемыкин, бывший премьер-министр. Полный рамолик... Говорит еле слышно, напоминает случайно... М. А. Беляев, бывший военный министр: плачущий, с неврастенической спазмой в горле... Н. М. Марков, бывший председатель «Союза русского народа». Лицо широкое, темное — «харя». Глаза черные, скалит зубы...».

Эти выдержки из «Записных книжек» я читал в классе. В другом, к сожалению. Тот, в котором «фронтеры», успел закончить школу и разлететься кто куда... Сознаю, что с Блоком мне не повезло, потому что я сам, очевидно, носил в себе остатки самоуверенного неведения.

Говорят, каждый словесник должен — а лучше, обязан! — выложить в сознании «собственного» Блока, Маяковского, Есенина... Иначе поэт превратится в ходолю, а поэзия в бессмыслицу. Внешне все будет казаться благопристойным, но внутренне станет глухой пустотой. Не об этом ли некогда хотел сказать мне экзаменатор, нервно поставивший в зачетку «хор»?

А Блок? Вот еще одна выдержка из «Записных книжек», свидетельствующая о тщательном самоанализе поэта. «У меня есть и честолюбие и чувственность; это, вероятно, главное из оставшегося... Но уже на первых планах души образуются некие новые группировки мыслей, ощущений, отношений к миру...». Эти мысли, ощущения и отношения отольются в «черную зlobу, святую зlobу»: «Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг! Товарищ, винтовку держи, не трус! Пальнем-ка пулей в Святую Русь...».

Заливистые частушечные переливизы, озорство избяной России, неизбывная мужичья тоска, жажда мести за поруганное — все вместились в «Двенадцать», все сплелось в четкую поэтическую неповторимость; об этом изячно-надломленным стихом не скажешь, ибо содержание определяет форму... Так растолковал бы я пафос поэмы «фрондерам», успевшим закончить школу, так толкую и сейчас.

Странно, но когда я обдумываю уроки по теме «Александр Блок», перед глазами, впавающие в массивные тела домов, загораются изумрудные луны, которых в городе тысячи и которые придают творчеству поэта особый смысл.

Тысячи изумрудных лун

ИЗ ЗАПИСОК УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

гая желтыми огнями, выполз троллейбус. «Это с улицы Декабристов, — пояснил я. — Раньше — Офицерская. Пересечешь канал Грибоедова, и через несколько кварталов — Пряжка. Там на углу дом, в котором жил и умер Блок...».

— Пошли? — просто предложил Миша Мухин.

И мы пошли.

Улица давно опустела, крыши растворились в мглстой мартовской темноте. Кто-то впереди в такт шагам читал:

— Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...

— И еще номер дома, — встала Лена Страхова. — Глядите, как зеленая луна, правда?

Она смотрела на номер так, что ее очки тоже стали зелеными. Он и впрямь напоминал луну. Круглый, обрамленный лепкой, он безмолвно вещал, что мы на улице Декабристов и что до пятидесяти седьмого дома, где Блок, еще порядочно.

— Не зеленая, — возразил неутомимый Миша Мухин. — Лучше — изумрудная. Так поэтичней, по-блоковски...

Изумрудных лун в городе тысячи. Они придавали вечерним улицам одним нам доступный смысл. И чем больше мы бродили по городу, тем больше казалось, что не мы, а Александр Блок так их назвал. Не мог же он, употребляя великое множество разнообразнейших эпитетов, не употребить и «изумрудный»!

панорамы мало-помалу стали высвечивать для них блоковские штришинки: здесь, в «Ректорском доме», поэт родился, тут, на Исаакиевской, читал лекции для молодых поэтов и прозаиков, возле Мойки, по периметру Марсова поля, в полукруглом угловом здании, он впервые прочел перед публикой «Двенадцать».

Я не придерживался какой-либо схемы или программы, да и говорил ребятам о Блоке без задних мыслей: просто казалось интересным поделиться с ними всем, что знал, о чем вычитал в книгах... Однажды привел их к «дому-башне» Вячеслава Иванова возле Таврического сада. Остановились у глухой желтой ограды дворца против башни. Тут Блок читал только что написанную «Незнакомку». Вспомнили, как несколько дней назад по пути в Репино, в «Пенаты», проезжали станцию Озерки и не обнаружили ни шлагбаумов, ни пыли переулочной, ни загородных дач, а уж о золотящемся кренделе булочной и говорить нечего! За вагонным окном, куда глаза хватал, раскинулся огромный микрорайон... А булочная — правда, без кренделя — есть, между прочим, в первом этаже «башни». В жестоком сорок первом моя жена (она ленинградка) потеряла в этой самой булочной желтые карточки...

Рассказал я и об этом по ассоциации. Наверное, потому, что убежден: в осмыслении поэзии, в сопереживании с поэтом все годится. Рассказал и, по-моему,

страдающий поэт — и гимнастерка, солдатский ремень. Не может быть!

Со стереотипом сладить трудно. Попробуйте-ка поверните эмоции шестнадцатилетней «чтицы», с придыханием почти чинюшей: «Бывало, шла походкой чинною на шум и свист за ближним лесом. Всю обходя платформу длинную, ждала, волнуясь, под навесом...». Поверните в сторону, в какую на самом-то деле Блока тянуло всю его сознательную поэтическую жизнь. «Я жду призыва, ишу ответа, не имеет небо, земля в молчаньи... (1901 г.)». «Шли на приступ. Прямо в грудь штык наточенный направлен... (1905 г.)». «Приближается звук. И, покорна щемящему звуку, молодеет душа... (1915 г.)» — вот ступени, по которым, ох, как нелегко было шагать поэту!

Мнение о Блоке как о певце всяческих утонченностей — «открытие», кстати сказать, не только моих учеников. «Неужели его пошлют на фронт? — недоумевал один из современников. — Ведь это то же самое, что жарить соловьев». Послали! Служил табельщиком в действующей армии. А после февральской революции стал членом Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию «деяний» бывших царских министров.

«Зlobа, — скажет он через год в «Двенадцати», — грустная зlobа кипит в груди. Черная зlobа, святая зlobа!..». Она заставляла давать уничтожающие ха-